



Я о ней много думал. Особенно в детстве. Хорошо быть храбрым: все уважают, а другие и боятся. А главное, думал я, никогда нет этого паскудного трепета в душе, когда ноги сами тянут бежать, а то от трепету до того слабнут, что колени трясутся, и, кажется, лучше б лег и живым в землю закопался. И я не столько боялся самой опасности, сколько самого страха, из-за которого столько подлостей на свете делается. Сколько друзей, товарищей, сколько самой бесценной правды предано из-за трусости: "не хватило воздуха сказать"...

И я знал, что по-французски "трус" и "подлец" -- одно слово -- "ляш". И верно, думал я: трусость приводит к подлости.

Я заметил, что боюсь высоты. До того боюсь, что если лежу на перилах балкона на шестом этаже, то чувствую, как за спиной так и дует холодом пустота. Просто слышу, как звенит проклятая холодом своим. И говорю тогда невпопад: оглушает сзади пустота.

Я раз видел, как на подвеске красил купол кровельщик. Метров сорок высоты, а он на дощечке, вроде детских качелей. Мажет, как будто на панели стоит, еще закурил, папироску скручивает. Вот я позавидовал! Да если б меня туда... я вцепился б, как клещ, в веревки или уж прямо бросился бы вниз, чтоб разом покончить со страхом: это самое больное, самое непереносимое чувство. Я выследил этого храбреца и вечером пошел за ним. Он пошел прямо на реку. Стал раздеваться. Я рядом. Я, при таком храбреце, пробежал по мосткам до самого краю и с разбегу бух головой: глубоко там, не ударишься. Выплыл. Смотрю, мой кровельщик стоит по пояс в воде и плещет на себя, приседает, как баба. Я ему:

-- Дяденька, иди сюда, здесь водица свежей.

А он:

-- Ишь, прыткий какой. Тама, гляди, утонуть можно.

-- Да тут тебе по шею.

-- Ладно! Неровен час колдобина али омут какой. Ну тебя к лешему. Не мани.

А когда он портки оттирал песком, я спросил:

-- А как же выси-то не боишься?

-- По привычке.

А поначалу, сказал, что страховито было.

Я решил, что приучу себя к высоте. И стал нарочно лазить туда, где мне казалось страшно.

Но ведь не одна высота, думал я. А вот в огонь полезть. В пожар. Или на зверя. На разбойника. На войне. В штыки, например.

Я думал: вот лев -- ничего не боится. Вот здорово. Это характер. А чего ему бояться, коли он сильней всех? Я на таракана тоже без топора иду. А потом прочел у Брема, что он сытого льва камнем спугнул: бросил камнем, а тот, поджавши хвост, как собака, удрал. Где же характер? Потом я думал про черкесов. Вот черкес -- этот прямо на целое войско один с кинжалом. Ни перед чем не отступит. А товарищ мне говорит:

-- А спрыгнет твой черкес с пятого этажа?

-- Дурак он прыгать, -- говорю.

-- А чего ж он не дурак на полк один идти?

Я задумался. Верно: если б он зря не боялся, то сказать ему: а ну-ка, не боишься в голову из пистолета выстрелить? Он -- бац! И готово. Этак давно бы ни одного черкеса живого не было. С гор в пропасть прыгали бы, как блохи, и палили бы себе в башку из чего попало. Если им смерть нипочем. Ясное дело: совсем не нипочем, и небось как лечатся, когда заболеют или ранены. Зря на смерть не идут.

Вот про это "зря" я увидел целую картину.

Дело было так. Был 1905 год. Был еврейский погром. Хулиганье под охраной войск убивало и издевалось над евреями как хотело. Да и над всякими, кто совался против. И образовался "союз русского народа"... казенные погромщики, им даны были значки и воля: во имя царя-отечества наводить страх и трепет. В союз этот собралась всякая сволочь. А чуть что -- на помощь выезжала казачья сотня, на конях, с винтовками, с шашками, с нагайками. Читали, может быть, про эти времена? Но читать одно. А вот выйдешь на улицу часов в семь хотя бы вечера и видишь -- идет по тротуару строем душ двадцать парней в желтых рубахах. Кто не понравился -- остановили, избili до полусмерти и дальше. Дружина союза русского народа.

В это время как раз приходит ко мне товарищ. Приглашает дать бой дружине. Днем, на улице. Я ни о чем другом тогда не подумал, только: неужто струшу? И сказал: "Идет..." Он мне дал револьвер. А за револьвер тогда, если найдут, ой-ой! Если не расстрел, то каторга наверняка. Уговорились где, когда. "И Левка будет". А Левку я знал. Я удивился: Левка был известен как трус. Его называли Левка-жид, и он боялся по доске канаву перейти. И Левка. Место было то, с которого начинала орудовать дружина. Нас было семь человек. Мы растянулись вдоль улицы под домами. Вот и желтые рубахи. Улица сразу опустела -- еврейский квартал. Дружина идет строем по тротуару. Мы стоим, прижавшись к домам. Нас не видно.

У меня сердце работало во всю мочь: что-то будет? Чем бы ни кончилось, все равно замечен и потом... Все равно найдут. Стрельба на улицах... Военный суд. Виселица.

Вдруг один из дружинников поднял камень, трах в окно. В тот же момент выстрелил наш вожак. Это значило -- открывай огонь. Наши стали палить. Мой выстрел был седьмым. Но я думал, что есть еще утек: есть возможность замести следы. Дружина шарахнулась. Их начальник что-то крикнул, все встали на колени и стали палить из револьверов. И вдруг Левка выбегает на середину улицы и с роста бьет из своего маузера. Выстрелит, подбежит шагов на пять и снова. Он подбегал все ближе с каждым выстрелом, и вдруг все наши выскочили на мостовую, и в тот же миг дружина вскочила на ноги и бросилась за угол. Левка побежал вслед, но его догнал наш вожак и так дернул за плечо, что Левка слетел с ног.

Дружина постреливала из-за угла. Через пять минут уже взвод казаков дробно скакал по мостовой. Дал с коней залп. Левку держали, чтоб он не бросился на казаков. А я только со всей силой удерживал ноги на панели, чтоб не понесли назад. А грудь -- как железная решетка, через которую дует ледяной ветер. Мы, отстреливаясь, благополучно отступили. Не знаю, много ли стрелял я.

Я сразу не пошел домой, чтоб запутать следы, наплести петель. А Левку едва вытолкали из улиц, он плакал и рвался.

Я испытывал храбрость, а у Левки сестру бросили в пожар. Лез не зря. У него в ушах стоял крик сестры и не замолк вопль народа своего. Это стояло сзади, и на это опирался его дух. У меня был товарищ -- шофер. К нему подошли двое ночью, и он снял свою меховую тужурку и сапоги и раздетый прибежал домой зайчиком по морозу.

Его мобилизовали. И через два месяца я узнал: летел на мотоциклете с донесением в соседнюю часть. Не довезет -- тех окружают, отрежут. По пути из лесу стрельба. Пробивают ноги -- поддал газу. Пробивают бак с бензином. Заткнул на ходу платком, пальцем, правил одной рукой и пер, пер -- и больше думал о бензине, чем о крови, что текла из ноги: поспеть бы довезти. А чего проще:

стать. Взяли бы в плен, перевязали, отправили в госпиталь. Да не меховым бушлатиком на этот раз подперт был дух.

Или вот вам случай с моим приятелем капитаном Ерохиным. Ему дали груз бертолетовой соли в бочонках из Англии в Архангельск. При выгрузке у пристани от удара эта соль воспламенилась в трюме. Бертолетова соль выделяет кислород -- это раз, так что поддает силы пожару. А второе -- она взрывает. Получше пороха. И ее полон трюм. Ахнет -- и от парохода одни черепки. Он взорвется, как граната. Через минуту -- пламя уже стояло из трюма выше мачт. У всей команды натуральное движение -- на берег и бегом без оглядки от этого плавучего снаряда. И тут голос капитана: заливай. И капитан стал красней огня и громче пламени. И никто не ушел. Не сошла машинная команда со своих мест и дали воду, дали шланги в трюм, и люди работали обезьяньей хваткой. А берег опустел: все знали -- рванет судно, на берегу тоже не поздоровится. И залили. Через полчаса приехала пожарная команда. Не пустил ее на борт Ерохин: после драки кулаками не машут.

На что его дух опирался? Да ведь каждый капитан, приняв судно, чувствует, что в нем, в этом судне, его честь и жизнь. Недаром говорят: Борис Иванович идет, когда видят пароход, которого капитан Борис Иванович. И в капитане это крепко завинчено, и всякий моряк это знает, как только вступает на судно: капитан и судно одно. И горел не пароход, сам Ерохин горел. Этим чувством и был подперт его дух.

А то ведь говорили: как осторожно Ерохин ходит. Чуть карте не верит -- прямо торцем в море и в обход. Не трусоват ли? Но поставьте тех, кто так говорил, командовать судном: думаю, и они не ушли бы с пожара, и они бы не проверяли б неверные карты своим килем.

Но вы скажете: "Что большие дела -- война да море. А вот на улице".

Да, на улице, на каждой почти улице есть свой Иван. Был и в нашем переулке такой клевый парень, кому все не под шапку. Никому не уважит. Лезет, хоть на кого. Просто, скажете, смелый, и все тут. Нет, не все. Для него вся жизнь в этой улице, тут его положение держится кулаком. Отступи -- пропал. Хоть за ворота завтра не выходи. И когда его подуськивали затронуть здорового прохожего -- как ему отказать? Ага! Полез в бутылку! Слабо! И все его положенье героя и "Ивана" повисло на волоске. И он уж кричит через дорогу:

-- Эй, ты что смотришь?

(А тот и не смотрит.)

-- В рыло давно не заезжали тебе, видать. -- И шагает через улицу. Все глядят, как наш-то его.

И прохожему не до того, чтоб в каждой улице драться. Прохожий уклоняется. Ага! То-то. Знай вперед, как рыло держать.

А потом чего-то он перестал с ребятами за воротами стоять, прохожих поджидать. Днем его вовсе не стало видно. Как-то вечером слышу у ворот разговор, его голос:

-- Ты сколько можешь осьминых заклепок в час забить? Не пробовал? Вот ты попробуй. У нас есть один, и посмотреть -- не видный из себя парень, так он, брат, в час заколачивает -- мне в три не кончить. Вот что!

Потом через месяц слышу -- он на ребят покрикивает:

-- А вы что? Все бузу трете? Чего к человеку пристали! Человек в баню идет.

А раньше самое первое дело: задратся с таким и чтоб белье в грязь разлетелось.

Вышел из "Иванов", в другом его жизнь, в другом честь -- не в улице, в заводе. Не подуськаешь: нет у него ни подъему, ни духу лезть на здорового дядю -- улице свою храбрость показывать. Вылетела прежняя подпорка его духа.

А вот еще: один мне говорил, что до того боялся кладбища, что и днем-то его далеко обходил. Раз пришлось отводить домой девочку лет семи. Дорога самая короткая через кладбище. Она ему:

-- Дяденька, кладбищем-то ближе всего, только ой! темно уж.

-- А ты боишься, что ли?

-- С вами-то мне нигде не страшно.

Мой приятель сразу усатым дядей стал. По кресту похлопывал, говорил:

-- Да чего бояться, дурашка: он деревянный. Чего он тебе сделает? А покойники, они мертвые. Поди, и кости уж сгнили. Ничего там нет: земля да крест.  
Девчонка к нему жалась, он ее все по головке гладил.  
Ну, а потом? Потом снова обходил.  
На девочкино доверие оперся его дух.